

НАЧАЛО

Цитата из воспоминаний — откуда чужих:

«Я увидел его в гостинице «Октябрьская» в компании московских поэтов. Он поставил ногу на стул, на колесо — гитару, подтянул струны и начал. Что начал? Потом это стали называть песнями Окуджавы. А тогда было еще непонятно, что это.

...Окуджава уехал в Москву. А я рассказывал и рассказывал о нем, пока директор Дома искусств не полюбопытствовал, что это были за песни. Я изложил их своими словами. И вскоре в ленинградском Доме искусств был запланирован первый публичный вечер Окуджавы.

...Перед тем как я должен был представить его слушателям, он попросил:

— Только не говорите, что это песни. Это стихи.

Видимо, он не был уверен в музыкальных достоинствах того, что он делал.

На следующем вечере Окуджавы перед Домом искусств стояла толпа.

— Что такое тут? — спрашивали прохожие.

— Аджубей приехал, — отвечали».

Вспоминает Александр Володин, «Шура Лифшиц», которому Окуджава посвятил нежное стихотворение. Могу точно назвать и время, когда тот открыл для себя «непонятно что»: декабрь 1959-го. Мы с Окуджавой по командировке «Литературной газеты» прибыли в Ленинград на странное сборище, именовавшееся, кажется, Всесоюзным съездом поэтов, на каковом, впрочем, ни разу не объявились (представив родному печатному органу халтурнейшую отписку). Питер в те дни гудел и пьяно шатался от нашествия стихотворческих толп, мы очутились в центре разгульно-романтического водоворота,

и — прав Володин — компания москвичей (Винокуров, Вознесенский, Казакова), собиравшаяся в нашем номере привокзальной «Октябрьской», — этот весьма узкий кружок, к которому присоединилось несколько ленинградцев, на ту пору был самой широкой аудиторией, перед которой Булат решил пропеть свои песни-стихи. Второй стала литгазетская наша компания на Новомодье с того же 59-го на 60-й, тоже не многолюднее чем два десятка друзей-сослуживцев, — правда, им всем, в отличие от Володина, песни были уже известны от меня, который их бесперечь демонстрировал. (Смешно сказать, даже, помню, в Калуге, где я очутился на 69-летию Паустовского, был принуждаем хозяином-именинником голосить целый вечер и «Мальчиков», и «Леньку Королева», и «Ваньку Морозова» — при моем-то более чем сомнительном вокале.) Потому что я, так получилось, знал того, чью фамилию в самом деле трудно усваивало русское ухо, — Акаджав называли его в армии, Ухудшавой именовали литгазетские девочки-курьерши, отнюдь не намереваясь острить, — к тому времени уже более года. С мая 1958-го.

Так что и у меня есть право кое-что вспомнить. Заодно — уточнить.

...За несколько лет до смерти Булата Окуджавы я наконец собрался спросить его, нарочно или по оплошности памяти в однотомничке 1984 года он сдвинул даты под ранними стихотворениями. Например, то, что относится к 58-му, отнес к 57-му, будто нарочно потакая вольностям фильма «Покровские ворота» или «Москва слезам не верит», где его песни звучат в те дни, когда их еще попросту не было.

— А! — беспечно махнул он рукой вполне в своем духе. — Это редактор попросил поставить даты, я и назвал их примерно. Какая разница?

Разница, однако, есть — и, быть может, не только для меня, очевидца.

Итак...

Когда я в 1958-м, окончив филфак университета, «в рассуждении чего бы покушать» и за неимением лучшего (аспирантура не могла обломиться по причине недостаточной политической благонадежности, точнее, того, что

казалось таковым соответствующим органам) поступил в отдел писем издательства «Молодая гвардия», дабы ответить юным читателям: «Дорогая Соня! Нам очень приятно, что тебе понравилась повесть А. Алексина «Саша и Шура», рекомендуем тебе...» и т. п., — короче, в соседнем кабинете обнаружился молодой грузин с шевелюрой, как говорится, царапающей потолок. В сереньком, помнится, несменяемом пиджачке («На мне костюмчик серый-серый, как будто серая шинель...»), а по зимнему времени — в войлочных ботинках.

Впрочем, эти ботинки я вряд ли бы вспомнил: их выхватил из тьмы времен цепкий взор Евгения Евтушенко, уже тогда, в пику былой своей беспризорщине, знавшего толк во франтовстве и запечатлевшего обувь марки «прощай, молодость» в своей поздней статье об Окуджаве, успевшем прославиться. А мне снегоступы не сразу вспомнились не только по моему равнодушию к шегольству. Просто в применении к Булату все это как-то не имело значения — кажется (даже наверняка), и для него самого.

В сущности, здесь на бытовом, будничном уровне проявилось то, что можно, коли угодно, назвать скромностью, но гораздо точнее — зрелостью: тем, что отличало Окуджаву на общем инфантильном фоне литераторских честолюбий. Мне, во всяком случае, не известен никто из обретших подобную славу — хотя учтем: много ль подобных? — кому удалось бы столь явно избежать перерождения. Отчего я с недоверием встретил в одной из газет предсмертное замечание Окуджавы, пересказанное Анатолием Гладилиным: нам с тобой, Толя, будто бы сказал, умирая под Парижем, Булат, повезло. Мы еще в шестидесятые обрели свою славу...

Славу?! Режь меня, не мог он выговорить это слово. По крайней мере, мне сказал иное (цитирую запись, сделанную тут же):

— Когда на меня свалился успех, я, к счастью, был уже взрослым. Я не знаю, как бы я себя вел, если бы мне в тот момент было лет девятнадцать, например, как Жене Евтушенко...

И добавил:

— У меня к тому времени развилось постепенно то, чем я очень дорожу: самоирония.

Это правда. Кто читал его автобиографическую прозу, например рассказы «Искусство кройки и житья» или «Отдельные неудачи среди сплошных удач», тому незачем напоминать печально-смешные страницы — про «пальто из замечательного драпа цвета переспелой моркови», которое автор-рассказчик, оказавшись несостоятельным должником, оставил как залог в ресторане, про восхитительную кожанку — та вообще задержалась на стадии нереализованной мечты. На деле же Окуджава долгие годы с удовольствием таскал изрядно потертый кожаный пиджачок, подаренный ему со своего плеча — по причине покупки дарителем нового — нашим общим добрым приятелем Михаилом Рошиным...

В общем, знакомство мое с ним началось с того, что в издательстве он ведал переводами «поэзии народов СССР», доставляя насущно необходимый заработок уже известным, но еще не вполне благополучным (или полуизвестным и вовсе не благополучным) поэтам: тому же Евтушенко, Ахмадулиной, Самойлову, Левитанскому, Рейну. Стал подкармливать и меня, узнав, что я в студенчестве баловался чем-то подобным, переводя Гейне. (Заодно, между прочим, и других немцев, Brentano, Мёрике, Бехера; брался и за англичанина Томаса Гарди, за француза Бодлера; такая вот неразборчивая пестрота. Все это, разумеется, «для себя», и я был неприятно поражен, увидав потом, что книжка о Гарди, написанная отцом моего университетского товарища Мити Урнова, щедро проиллюстрирована моими же крайне несовершенными переводами.) Окуджава только устроил экзамен, строго спросив: «К Щипачеву как относитесь?» — «Плохо», — оробело ответил я, имея в виду, понятно, стихи. И, ответив, прошел тест на совместимость.

Между прочим, немногим спустя, приглашенный работать — без малейших заслуг, по протекции знавшего меня по университету Игоря Виноградова — в «Литгазету», где радикально сменилась власть, взамен кошмарного Кочетова был назначен куда более уважаемый Сергей Сергеевич Смирнов, я был примерно и даже в точности так тестирован Юрием Бондаревым (тогда всерьез обнадживавшим прозаиком и, не поверите, симпатичнейшим

человеком): «Кого из современных прозаиков любите?» — «Леонида Леонова», — совершенно по-дурацки отвечивал я, находясь в те времена в соответственно дурацком заблуждении, что чем проза малочитабельнее, тем, значит, и лучше.

О существовании Андрея Платонова люди моего уровня начитанности тогда почти и не слыхивали.

Бондарев был, однако, удовлетворен, я — принят, результатом чего неожиданно и необъяснимо стало то, что уже я вроде бы оказал протекцию Окуджаве, подобно мне томившемуся в комсомольском издательстве.

Поскольку, как оказалось, мною эта история уже подзабыта, цитирую более памятливого Лазаря Лазарева, нашего с Окуджавой друга, его книгу «Шестой этаж» (акkurat на шестом этаже здания на Цветном бульваре располагался отдел литературы — звучит, понимаю, до смешного тавтологично — «Литературной газеты»); правда, кабинетик Булата был этажом ниже, что давало ему толику дополнительной независимости: попросту мог, если приспичило, улизнуть):

«Когда вели предварительные переговоры с Рассадиным, в разговоре всплыло, что нам нужен сотрудник, который занимался бы поэзией, отбором и публикацией стихов. Рассадин сказал, что один из его сослуживцев в издательстве, работающий в редакции братских литератур, молодой поэт, кажется ему очень подходящей кандидатурой на это место. Помню первое впечатление: какое-то удивительное изящество в жестах, в манере держаться. Он производил приятное впечатление, этот сдержанный, немногословный — любителей витийствовать, отчаянных спорщиков у нас уже было предостаточно, — с грустными глазами и неожиданно быстрой улыбкой парень. Выяснилось, что он фронтовик, что он, Бондарев и я одногодки, что в нашей военной судьбе немало общего (потом мы узнали о его трагедии — отец расстрелян, мать долгие годы пробыла в лагере и ссылке). Спросили, чьи стихи он любит...»

Та же картина!

«...Вкус у него был хороший».

Короче, одним и тем же августовским днем 59-го мы на пару перебежали из опостылевшей «Молодой гвардии» в «Литгазету», по тем временам либеральную. Вспоминаю: отметили это событие обедом в арбатской «Праге»; помню